

Константин Симонов

Жди меня

Из биографии

Я родился в 1915 году в Петрограде, а детство провел в Рязани и Саратове. Моя мать работала то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище.

Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня, соседями были тоже военные, да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. За окнами, на плацу, производились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими женами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на продсклад получать командирское довольствие.

Вечерами отчим сидел и готовил схемы к предстоящим занятиям. Иногда я помогал ему. Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая ложь презиралась.

Так как и отец, и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были возложены посильные, постепенно возрастающие обязанности. Я вытирал пыль, мел пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала – ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться, – не помню.

Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.

Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошел в фабзавуч учиться на токаря. Решение принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: «Пусть делает, как решил, его дело!»

Мы жили туго, в обрез, и тридцать семь рублей в получку, которые я стал приносить на второй год фабзавуча, были существенным вкладом в наш семейный бюджет.

Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной 1932 года, окончив фабзавуч точной механики и получив специальность токаря 4-го разряда, пошел работать на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики «Межрабпомфильм».

Руки у меня были отнюдь не золотые, и мастерство давалось с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, и через несколько лет я уже работал по седьмому разряду.

В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попала книжка сонетов французского поэта Эридия «Трофеи» в переводе Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, почему эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но, видимо, именно они побудили меня к первым прозам пера. Вскоре, после того как я одним духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище – поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму из времен гражданской войны и постепенно пристрастился к сочинению стихов, – иногда они получались звучные, но в большинстве были подражательные. Стихи нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения.

Осенью 1933 года под влиянием статей о Беломорстрое, которыми тогда были полны все газеты, я написал длинную поэму под названием «Беломорканал». В громком чтении она произвела впечатление на слушателей. Кто-то посоветовал мне сходиться с ней в литературную консультацию – а вдруг возьмут и напечатают?

Не особенно в это веря, я, однако, не удержался от соблазна и пошел на Большой Черкасский переулок, где на четвертом этаже, в тесной, заставленной столами комнате помещалась литературная консультация Гослитиздата.

Я пришел вовремя – литконсультация Гослитиздата выпускала очередной, второй сборник молодых авторов под названием «Смотр сил».

Прочитав мое творение, консультант С. Ю. Коляджин сказал, что я не лишен способностей, но предстоит еще много работы. И я стал работать: в течение полугода чуть ли не каждые две недели заново переписывал поэму и приносил ее Коляджину, а он вновь заставлял переделывать. Наконец весной, решив, что мы оба совершили с поэмой все, что могли, Коляджин понес ее Василию Васильевичу Казину, который редактировал в Гослитиздате поэзию. Казин тоже признал мои способности, но поэму как таковую отверг, сказав, что из нее можно выбрать лишь отдельные удачные места, или, как он выразился, фрагменты. И вот эти-то фрагменты, после того как я над ними еще поработаю, наверно, можно будет включить в сборник «Смотр сил».

Всю весну и начало лета каждый день, приходя с работы, я допоздна сидел и корпел над фрагментами. И когда я вконец изнемог под грузом поправок, Казин, казавшийся мне очень строгим человеком, вдруг сказал: «Ладно, теперь можно – в набор!» Сборник «Смотр сил» ушел в типографию. Оставалось ждать его выхода.

Летом, получив отпуск, я решил поехать на Беломорканал, чтобы увидеть своими глазами то, о чем писал стихи, пользуясь чужими газетными статьями. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, меня неожиданно поддержали не только морально, но и материально. В секторе культмассовой работы нашлись деньги для этой поездки, и через несколько дней, получив триста рублей и добавив их к своим отпускным, я поехал в Медвежью Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, в которой значилось, что Симонов К. М. – молодой поэт с производства – направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сектор Гослитиздата просит оказать означенному поэту всяческое содействие.

На Беломорканале я пробыл месяц. Большую часть времени жил на одном из лагерных пунктов неподалеку от Медвежьей Горы. Мне было девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в каморке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключенного),

никто, конечно, не принимал меня всерьез за писателя. Персона моя никого не интересовала и не стесняла, и поэтому люди оставались сами собой. Когда я рассказывал о себе и о том, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать вместо прежней новую), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу, одобряли – «Давай пробивайся».

Вернувшись в Москву, я написал эту новую поэму. Называлась она «Горизонт», стихи были по-прежнему неудобоваримыми, но за ними стояло уже реальное содержание – то, что я видел и знал. В консультации мне посоветовали пойти учиться в открывшийся недавно, по инициативе А. М. Горького, Вечерний рабочий литературный университет и даже написали рекомендацию.

В начале сентября 1934 года, сдав приемные испытания, я нашел свою фамилию в длинном списке принятых, вывешенном в коридорах знаменитого «Дома Герцена».

Учиться первые полтора года было трудно; я продолжал работать токарем, сначала в «Межрабпомфильме», а потом на кинофабрике «Техфильм». Жил я далеко, за Семеновской заставой, работал на Ленинградском шоссе, вечерами бежал на лекции, а по ночам продолжал писать и переписывать свою поэму о Беломорканале, которая чем дальше, тем казалась длиннее. Времени на сон практически не оставалось, а тут еще выяснилось, что я гораздо меньше начитан, чем мне это казалось раньше. Пришлось, в срочном порядке, громадными порциями глотать литературу.

На втором курсе стало ясно, что делать сразу три дела – работать, учиться и писать – я больше не могу. Мне скрепя сердце пришлось оставить работу и перебиваться случайными заработками, потому что стипендий нам не давали, а стихов моих еще не печатали.

Вспоминая свои молодые годы, не могу не упомянуть о моих руководителях в поэтическом семинаре Литературного института Илье Дукоре и Леониде Ивановиче Тимофееве, и моих поэтических наставниках тех лет, Владимире Луговском и Павле Антокольском, сыгравших немалую роль в моей писательской судьбе. К этим людям я до сих пор испытываю огромную благодарность.

В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны мои первые стихи, а в 1938 году под названием «Павел Черный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад обратился в литконсультацию. Своим выходом в свет она не принесла мне радости, но – пока я ее писал и переписывал – научила меня работать.

Однако не публикация стихов и не выход моей первой книжки стали для меня той ступенью, шагнув на которую я почувствовал, что становлюсь поэтом. Это чувство точно и определенно связано у меня с одним днем и одним стихотворением.

Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач – это писатель Мате Залка, человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал».

В нем говорилось о судьбе Мате Залки – генерала Лукача, но внутренне с юношеской прямоотой и горячностью я отвечал сам себе на вопрос – какой должна быть судьба моего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?

Да, именно так, как Мате Залка, мне хотелось прожить и свою собственную жизнь. Да, именно за это мне будет не жаль отдать ее!

В стихах «Генерал» хромали рифмы и попадались неуклюжие строчки, но сила чувства, которое было в моей душе, сделала их, как мне кажется, моими первыми настоящими стихами.

Константин Симонов

1978

Начало

Из поэмы «Павел Черный»

В начале тридцать второго в Карелию ехал Черный —
Густо татуирован, жилист, немыт, небрит.
Ехал он из Одессы, с любимого Черного моря
На чортово Белое море. Чорт его побери!

Как раз в арестантском вагоне стукнул ему тридцатый.
Стократно благополучно бежавшие от погонь,
Были с ним вместе взяты в доску свои ребята,
Прошедшие медные трубы, воду, водку, огонь.

Ехали долго и скучно: пять суток резались в карты;
Сто раз прошли через руки деньги, жратва, табак...
Вагон, как осенняя муха, полз по холодной карте,
И Черному показалось, что дело его – табак!

Если глядеть в окошко: камень, камень и камень,

Снег да кривые сосны, и кругом никого,
Если вцепиться в решетку да потрясти руками,
Услышишь запах железа и проклянешь его.

До теплой Одессы тыщи простуженных километров.
А вор все равно, что птица, серенький соловей, —
Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
От холода и от клетки, от мыслей в своей голове.

Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
Нету у человека печки, тепла, угла?
Нету такого места, чтобы взял ты билеты,
Уехал – и никакая власть тебя не взяла.

Говорят, что у маминой юбки самое теплое место,
Что приятно со старым папкой в поддавки постучать.
Говорят, человек как кошка, любит старое место,
Любит собственных шкетов на руках покачать.

Кто его знает? Ноги шли не на те пороги,
Не пробовал Черный этих приятных и тихих штук.
Выбрать ему не дали. А на любой дороге
У дырявых подметок одинаковый стук.

Как и других – родили, кинули в подворотню.

Дворник нашел под утро. Пошевелил носком.
Видит – живой мальчишка; выживет, будет работник,
Скорей же всего подохнет. И сунул в сиротский дом.

Сиротский дом трехэтажный. В стенах глаза и уши,
Если бывал – так знаешь. Не бывал – не поймешь!
Давал император трешку в год на живую душу.
«Смоешься – станешь вором. Не смоешься – так помрешь».

И вышла такая привычка: загнут на любом из следствий:
«Что же это вас толкнуло? Кто папа и мама вам?» —
Встанет Черный и скажет: «Очень приличное детство,
Очень прекрасная мама, а воровал я сам!»

Наутро довез их поезд до самого края свету,
Ссадил и поехал дальше, куда-то в тартарары.
Взглянули на солнце – нету! Взглянули на звезды – нету!
И нету на белом свете другой подобной дыры.

Кто-то сказал в молчанье: «Зовется город Сорока...»
И даже те, что успели приговор позабыть,
Тут при помощи пальцев вновь сочтя свои сроки,
Загрустили, что долго придется в Сороке быть.

Они прошли через город без песен и разговоров.

Никто не кидался к окнам, не выбегал встречать:
Мало ли на работу ведут через город воров —
К ним раз навсегда привыкли и бросили замечать.

А если и замечали, то говорили мельком:
«Снова ведут рабсилу...» И, уловив на слух,
Воры, сердясь, считали это названье мелким,
Вставал на дыбы их гордый паразитарный дух.

Черный сказал с усмешкой: «Вот оно – Белое море.
Если казенным сладким подавишься калачом,
Если засохнешь с горя, если тоска уморит,
Снегом тебя засыпет, и никто не при чем».

И повернули в поле. Вот бы сейчас самовара!
Хватить бы по два стакана, по третьему наливать.
Идут в шикарных пальтишках девчонки с Тверского бульвара,
Их еще не успели переобмундировать.

Черный на них смеется, на моды их и фасоны.
Он бы за них копейки ломаной не отдал.
Но их манто и чулочки немного не по сезону.
А это удачный повод, чтоб учинить скандал.

Черный подходит фертом к заднему из конвойных

И задушевым тоном в ухо кричит ему:
«Скидывай полушубок, поносил – и довольно;
Девочкам пригодится, а тебе ни к чему!»

И конвоир внезапно смотрит в упор на вора,
И оба стоят, как рыбы, широко разинув рты.
Черному ясно видно, что это же Васька Ворон,
Одесский уркан. И разом они произносят: «Ты!»

Но тотчас же вспоминают каждый свое назначенье,
И конвоир снимает руку с его плеча.
И Черный бьет его в ухо, отчасти для развлечения,
Отчасти от горькой обиды, а более сгоряча.

Но, подоспев, другие Черному крутят руки,
Такие крепкие парни – они медведя сомнут —
И, несмотря на силу и все одесские штуки,
Черный надежно связан в каких-нибудь пять минут.

«Крепко ж вас откормили даровыми пайками!»
Он с уваженьем смотрит на связавших его.
Он для смеха поводит скрученными руками,
Но эти грозные жесты не трогают никого.

Никто на него не смотрит, как будто на целом свете

Только одно глухое похрустыванье шагов.

Колонна идет в молчанье сквозь перекрестный ветер.

И крыши первых бараков встают посреди снегов.

* * *

В эту минуту Черный, закутанный в полушубок,

Ругаясь, брел по лагпункту. Кругом – как в аду темно,

Снег летит, как из пушки. Черный добрел до клуба,

Свернул налево и стукнул в заснеженное окно.

В пристроечке рядом с клубом, в симпатичном куточке

О два окна с печуркой скоро уж год как жил

Лагерный живописец, Яков Якович Точкин,

С большим котом Еврипидом, с коим оный дружил.

Як Якыч был богомазом, всю жизнь он писал иконы

Возрастом не моложе, чем пятнадцатый век.

Издrevле в Марьиной роще на этом деле исконном

Имел отличную прибыль усидчивый человек.

В доброе старое время все сходило прекрасно,

Як Якыч жил содержимым купеческих кошельков.

Потом купцы испарились, а он яичною краской

Все так же писал Иисусов, апостолов, ангелков.

Но рынок сбыта сужался (музеи – их не обманешь).

Иконы лежали годами... Як Якыч придумал плант,
По коему можно быстро изжить пустоту в кармане
И не оставлять втуне свой природный талант.

Он стал рисовать червонцы: купюры по пять и десять,
Но если за фальшь в иконах бывал в старину он бит,
То нынче за фальшь в червонцах давали по пять и десять;
Як Якыч влип и поехал осваивать новый быт.

Едва он успел приехать, как Волков его вызывает
И говорит: «Художник? Як Якыч глаголет: „Да“ .
«Портреты писал с натуры?» Як Якыч ему называет
Всех святых, что писал он. А портрет – ерунда!

Портрет кто хочешь напишет! Волков, услышав это,
Ему говорит: «Художник, все создам для тебя,
С лучших моих рабочих будешь писать портреты,
С одним условием: чтоб каждый мог узнавать себя».

Дал ему Волков краски, кисти, холст, помещенье,
Достал с большими трудами уголь, масло и мел:
И Як Якыч назавтра с некоторым смущеньем
Первого клиента написал, как умел.

Правда, тот возмущался своим пророкоподобным

И вместе ангельским видом и пробовал говорить,
Что все же он бывший жулик и его неудобно
Писать ангелком, как будто он прошлое хочет скрыть, —

Но это были придирки, портрет получился отменный,
С того момента Як Якыч на холстах написал
Десятки героев лагпункта; ударников, рекордсменов.
Почетная галерея глядела на клубный зал

Своими, по большей части, голубыми глазами;
Як Якыч любил голубое, но, собственно говоря,
Он в этом мало повинен, — его заказчики сами
Просили: «Сваргань поярче, чтобы не было сентября!»

Ошеломив клиента пронизывающим взглядом,
Одно из трех за основу брал вдохновенный кустарь:
Батальный портрет – суровый, статский портрет – с парадом,
Грустный портрет – с мечтаньем, так, как писали встарь.

И писал сообразно, в трех различных манерах,
Писал сурово и честно, иконы почти забыл.
Однажды лишь, не сдержавшись, старого инженера
Сделал под Саваофа, уж очень похож он был.

Когда появился Черный, Як Якыч сказал: «Батальный!»

Не входя в объяснения, вытащил пук кистей,
Свою большую политру, и на холст моментально
Лег славный облик героя во всей его красоте.

Сверх белой масляной краски на щеках он вывел розы,
Приклеил над каждым глазом дугой смоляную бровь,
Поставил героя в позу, чтоб получилось грозно,
Чтоб в жилах играла кровь!

Глаза написал лазурью, нежным берлинским цветом.
Левый глаз не удался: в глазе печаль и мгла-с!
Зато подобен комете, бесподобен и светел
Правый геройский глаз.

Потом написал он плечи: расправь их – упрутся в тучи,
Согни их втрое – не спрячешь. И ото всей души
Черный бормочет: «Лучше, еще два мазочка, лучше,
Пиши, дорогой, пиши!»

А в сущности он взволнован уже не самим портретом,
Портрет в его представленье почти висит на стене.
«И где он будет повешен, и скоро ли будет это,
Вот, дорогой художник, что интересно мне!»

Як Якыч ему методично ответил по каждому пункту:

Что повесят, что скоро, что в клубе, что это факт.

И Черный пошел, довольный, в клубный театр лагпункта,

Где только что все затихло и начался третий акт.

Главный герой на сцене в роль вошел моментально,

Воры с неподдельным чувством играли себя самих.

Автор, как все блатные, немножко сентиментальный,

Умел добраться до сердца таких же, как он, блатных.

Герой, под влиянием любимой бросивший блат навеки,

Работает на заводе, где она секретарь.

Злодей – кулацкий сыночек – крадет бумаги и чеки,

С расчетом, что бывшего вора заподозрят, как встарь.

Зал обижен за вора, в зале не дышат даже...

Герой, ничего не зная, приводит своих корешков,

Он им рекомендует тотчас же бросить кражи

И, по его примеру, честно встать у станков.

Но герой заподозрен. Приезжает угрозыск.

Герою с его друзьями грозит арест и тюрьма.

Друзья при виде агентов кричат герою с угрозой:

«Ты нас завел в ловушку!» – а в зале сходят с ума.

В зале столпотворенье достигает предела,

Иоська вскочив со стула, кричит герою: «Скажись,
Скажись им, Коля, в чем дело!» И тот говорит, в чем дело,
И приходит развязка и счастливая жизнь.

В зале вздох облегченья, в зале – за добродетель:

Пускай у слепой фортуны не плутуют весы!

Зал заметно растроган, воры рыдают, как дети,

И нежные девичьи слезы капают на усы.

1933–1937

Дом

1

Тяжкий запах добра смешан с вонью эфира.

Мир завешен гардиной, и прочная мгла

От сотворенья мира

Стоит в четырех углах.

Оно создавалось не сразу, надежное здешнее счастье.

Оно начиналось с дощечки: «Прием с двух до десяти».

Здесь продавалась помощь, рознятая на части:

От висмута – до сальварсана

От целкового – до десяти.

И люди дурно болели, и дом обрастал вещами.

Он набухал, как лягушка, опившаяся водой.
Скрипела кровать ночами,
И между обедом и чаем
В новый рояль, скучая,
Стучали по среднему «до».
Так с большими трудами, с помощью провиденья
Была создана симметрия, прочный семейный квадрат.
Здесь вещи стоили денег
И дети стоили денег,
Не считая моральных затрат.
Над городом грохнула осень, но врач затворил окошко.
Приделал на дверь четыре давно припасенных замка.
Припрятал столовые ложки,
Котик сменил на кошку
И высморкался без платка.
Он брал за визиты натурой: шубами и часами,
Старыми орденами, воблюю и мукой,
Он прятал и ел глазами,
И умные вещи сами
Ластились под рукой.
Он долго жил как властитель,
Он хвастал, что сто миллионов
Войн и переворотов
Дверь не откроют в дом.
Сын станет опорой трона,
А дочь...
Но гадкий утенок,
Чтоб он, не родившись, сдох!
Так часто бывает: в доме,
Пропахшем столетним хламом,

Растет молчаливый ребенок,
Чуждый отцовской лжи.
Девчонка рвалась из дома
И бредила океаном.
Ей племя пыльных диванов
Мешало дышать и жить.
Она подросла и стала девушкой первого сорта.
А мир изменился – грохочут дальние поезда,
Она решила уехать,
Понюхать соленого пота,
Лучше куда угодно,
Чем обратно – сюда!
Отец обругал наше время,
Отец был кряжистым дубом.
Он проклял меня, который дал руку ей, чтоб уйти.
Он даже попробовал спорить,
Но я показал ему зубы.
Он съежился
И пропустил.

2

Так я с собой на север привез хорошего друга.
Мы спали на жестких досках
И ели неважный хлеб.
Да, жить приходилось туго,
Паршивый, холодный угол.
Но мы сговорились друг с другом,

Что счастье не в барахле.
Она училась работать, молча и спотыкаясь,
Упрямая, как ребенок, пробующий ходить.
Девчонка так исхудала, что, взяв большими руками
Ее, как больную птицу,
Я согревал на груди.
Я начал видеть всю правду,
Да видно, что поздно начал.
Ей с детства кутали шейку,
А здесь мороз и вода,
Я знал, что девчонка плачет,
Но я не видал, как плачет,
А это не значит – плачет,
Раз никто не видал.
Я почернел от горя, когда она умирала.
Я проклял себя, который взял и не уберег.
Эх, если бы смерть как взятку
Мои потроха забрала,
Я б сунул ей взятку в зубы —
Черт с ней, пускай берет!
И вот я стоял, как наследник,
Над худеньким мертвым телом,
Я мог говорить с собою и мог кричать в потолок,
Я мог, наконец, как собака (кому до этого дело?),
Страшно завывать по хозяйке,
Скорчившись под столом...
На память остались вещи.
Но я вещей не боялся.
Кто сиротел – тот знает, как можно с вещами дружить.
Я ушел из поселка

И долго работал и шлялся,
Каждый по-своему лечит свою захворавшую жизнь.

3

Прошло, наверно, три года, и черт меня дернул приехать.
Я много страдал, я думал – меня не узнать в лицо...
И встретился на тротуаре с глухим деревянным смехом,
С хитрым стуком подметок —
Словом, с ее отцом.
Он постарел и согнулся, но видел еще отлично.
Он встал поперек дороги, и на его лице
Выстроились в порядке все чувства, коим прилично
Быть в удрученном отце.
Я был благородным жестом введен в его старую крепость.
Дом разрушался. Глухо, по-старчески били часы.
Дочь его, как живая, глядела с большого портрета,
На кончике стула, как мертвый,
Сидел единственный сын.
Старик рассуждал о прошлом,
Он где-то выведал даже,
Как плохо мы пили и ели,
Как нам жилось и спалось.
Чем я становился суше,
Тем он умильней и глаже.
И было мне непонятно, что на него нашло.
Тогда я вспомнил про сына:
«Так вот причина радушью!

Пусть я расскажу побольше,
Пусть сын разглядит порок.
– Гляди на него и бойся продать ему свою душу,
Гляди на него и бойся переступить порог!»
И сын молчал и боялся.
Я встал и надвинул шапку.
Девчонка мне улыбалась так, что больно смотреть.
Я вспомнил ее живую
И сгреб со стены в охапку:
«Довольно!
Какого черта висит здесь ее портрет?»
Только у самой двери
Я поглядел на сына:
И этот унылый заморыш – брат своей сестры?
О, будь в нем хоть капля жизни,
Я б разогнул ему спину.
Я б вывел его из дому
И дверь бы за ним закрыл.
Но дверь наотрез замкнулась.
Дом заскрипел
И замер.
На лестнице пыль и темень, я долго искал огня.
И сверху раздался топот,
И вновь загремели замками.
Нет, я ошибся в мальчишке – он догонял меня!

Сейчас наш поезд трясется
Где-то под Кустанаем...
Мальчишка уснул на полке.
А я вспоминаю отца:
Он скоро умрет от удушья,
И дом четырьмя стенами
Сомкнется и с грохотом рухнет
На труп своего творца.

1935

Рассказ о спрятанном оружии

Им пятый день давали есть
Соленую треску.
Тюремный повар вырезал
Им лучшие куски —
На ужин, завтрак и обед
По жирному куску
Отборной, розовой, насквозь
Просоленной трески.
Начальник клялся, что стократ
Сытнее всех его солдат
Два красных арестанта
В его тюрьме едят.
А если им нужна вода,
То это блажь и ерунда:

Пускай в окно на дождик,
Разиня рот глядят.

Они валялись на полу,
Холодном и пустом.
Две одиночки дали им,
Двоим на всю тюрьму,
Чтоб в одиночестве они
Припомнили о том,
Известном только им двоим
И больше никому...
А чтоб помочь им вспоминать,
Пришлось топтать их и пинать,
По спинам их гуляли
Дубинки и ремни,
К ним возвращалась память, но
Они не вспомнили одно:
Где спрятано оружие —
Не вспомнили они.

Однажды старшего из них
Под вечер взял конвой.
Он шел сквозь двор и жадным ртом
Пытался дождь глотать.
Но мелкий дождик пролетал,
Крутясь над головой,
И пересохший рот не мог
Ни капельки поймать.

Его втокнули в кабинет.

– Ну как, припомнил или нет? —

Спросил его начальник.

А посреди стола,

Зовя его ответить «да»,

Стояла свежая вода

За ледяною стенкой

Вспотевшего стекла.

Сухие губы облизав,

Он выговорил: – Да,

Я вспомнил. Где-то под землей

Его зарыли мы,

Одно не помню только: где? —

А чертова вода

Над ним смеялась со стола

Начальника тюрьмы.

Начальник, прекратив допрос,

Ему стакан воды поднес

К сухим губам вплотную

И... выплеснул в окно!

– Забыл? Но через пять минут

Сюда другого приведут.

Не ты, так твой товарищ

Припомнит все равно!

Начальник вышел. Арестант

Услышал скрип дверной,

И в дверь ввалился тот, другой,
Оковами звеня.
Со стоном прислонясь к стене
Распухшею спиной,
Он прошептал: – Я не могу...
Они ведь бьют меня...
Я скоро сдамся, и тогда
Язык мой сам подскажет «да»...
Я знаю: в сером доме,
В подвале, в глубине...
– Молчи! – Еще молчу... пока... —
А двери скрипнули слегка,
И в них вошел начальник:
– Ну, кто ж расскажет мне?

И старший арестант шепнул
С усмешкою кривой:
– Черт с ним, с оружием! Все равно
Дела к концу идут.
Я все скажу вам, но пускай
Сначала ваш конвой
Того, другого, уведет:
Он будет лишним тут. —
Солдаты, отодрав с земли
Того, другого, унесли,
Локтями молча тыча
В его кричащий рот.
Тот ничего не понял, но
Кричал и рвался; все равно

Он знал, что снова будут
Бить в ребра и в живот.

– Кричит! – заметил арестант
И, побледнев едва,
За все, что выдаст, попросил
Себе награды три:
Стакан воды сейчас же – раз,
Свободу завтра – два,
И сделать так, чтоб тот, другой,
Молчал об этом – три.
Начальник рассмеялся: – Мы
Его не пустим из тюрьмы.
И, слово кабальеро,
Что завтра к двум часам...

– Нет, я хочу не в два, не в час —
Пускай он замолчит сейчас!
Я на слово не верю, я должен видеть сам. —
Начальник твердою рукой
Придвинул телефон:
– Алло! Сейчас же номер семь
Отправить в карцер, но
Весьма возможно, что бежать
Пытаться будет он...
Тогда стреляйте так, чтоб я
Видал через окно... —
Он с маху бросил трубку: – Ну? —

И арестант побрел к окну
И толстую решетку
Тряхнул одной рукой.
Тюремный двор и гол и пуст,
Торчит какой-то жалкий куст,
А через двор понуро
Плетется тот, другой.

Конвой отстал на пять шагов.

Настала тишина.

Уже винтовки поднялись,

А тот бредет сквозь двор...

Раздался залп. И арестант

Отпрянул от окна:

– Вам про оружие рассказать,

Не правда ли, сеньор?

Мы спрятали его давно.

Мы двое знали, где оно.

Товарищ мог бы выдать

Под пыткой палачу.

Ему, который мог сказать,

Мне удалось язык связать.

Он умер и не скажет.

Я жив, и я молчу!

Генерал

Памяти Мате Залки

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был —
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,
Магьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснув зубы,
Бежать за границу опять?

Он этот приезд не считает,
Он помнит все эти года,
Что должен задолго до смерти
Вернуться домой навсегда.

С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слышали о нем.

Давно уж он в Венгрии не был,
Но где бы он ни был – над ним
Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним.

Венгерское красное знамя
Его освящает в бою.
И где б он ни бился – он всюду
За Венгрию бьется свою.

Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.

Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.

Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвою
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

1937

Однополчане

Как будто мы уже в походе,
Военным шагом, как и я,
По многим улицам проходят
Мои ближайшие друзья;

Не те, с которыми зубрили
За партой первые азы,
Не те, с которыми мы брили
Едва заметные усы.

Мы с ними не пивали чая,
Хлеб не делили пополам,
Они, меня не замечая,
Идут по собственным делам.

Но будет день – и по разверстке

В окоп мы рядом попадем,

Поделим хлеб и на заvertку

Углы от писем оторвем.

Пустой консервную жестяной

Воды для друга зачерпнем

И запасной его портянкой

Больную ногу подвернем.

Под Кенигсбергом на рассвете

Мы будем ранены вдвоем,

Отбудем месяц в лазарете,

И выживем, и в бой пойдём.

Святая ярость наступленья,

Боев жестокая страда

Завяжут наше поколенья

В железный узел, навсегда.

1938

Изгнанник

Испанским республиканцам

Нет больше родины. Нет неба, нет земли.
Нет хлеба, нет воды. Все взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя.
Чужие люди ехали «домой»,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Они его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!
Ведь он искал чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И наконец нашел. В нем потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша:
Где «юнкеры», где неба черный клочок
И звезды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга;
Старик был в штатском платье, в котелке,
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги – это означало,
Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб все начать сначала.

Но он не может. – Слышишь, не могу! —
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. – Ей-богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть еще немного.

Старик молчал. – Еще хоть месяц так,
А там – пускай опять штыки, застенки, мавры. —
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой,
Губами осторожно трогал.

Как он посмел забыть? Три лавровых листка.
Что может быть прочней и проще?
Не все еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане...
.....
Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

1939

Старик

Памяти Амундсена

Весь дом пенькой проконопачен прочно,
Как корабельное сухое дно,
И в кабинете – круглое нарочно —
На океан прорублено окно.

Тут все кругом привычное, морское,
Такое, чтобы, вставши на причал,
Свой переход к свирепому покою
Хозяин дома реже замечал.

Он стар. Под старость странствия опасны,
Король ему назначил пенсион,
И с королем на этот раз согласны
Его шофер, кухарка, почтальон.

Следят, чтоб ночью угли не потухли,
И сплетничают разным докторам,
И по утрам подогревают туфли,
И пива не дают по вечерам.

Все подвиги его давно известны,

К бессмертной славе он приговорен,
И ни одной душе не интересно,
Что этой славой недоволен он.

Она не стоит одного ночлега
Под спальным шерстью пахнущим мешком,
Одной щепотки тающего снега,
Одной затяжки крепким табаком.

Ночь напролет камин ревет в столовой,
И, кочергой помешивая в нем,
Хозяин, как орел белоголовый,
Нахохлившись, сидит перед огнем.

По радио всю ночь бюро погоды
Предупреждает, что кругом шторма, —
Пускай в портах швартуют пароходы
И запирают накрепко дома.

В разрядах молний слышимость все глуше,
И вдруг из тыщевеерстной темноты
Предсмертный крик: «Спасите наши души!»
И градусы примерной широты.

В шкафу висят забытые одежды —

Комбинезоны, спальные мешки...

Он никогда бы не подумал прежде,

Что могут так заржаветь все крючки...

Как трудно их застегивать с отвычки!

Дождь бьет по стеклам мокрою листвой.

В резиновый карман – табак и спички,

Револьвер – в задний, компас – в боковой.

Уже с огнем забегали по дому,

Но, заревев и прыгнув из ворот,

Машина по пути к аэродрому

Давно ушла за первый поворот.

В лесу дубы под молнией, как свечи,

Над головой сгибаются, треща,

И дождь, ломаясь на лету о плечи,

Стекает в черный капюшон плаща.

Под осень, накануне ледостава,

Рыбачий бот, уйдя на промысла,

Найдет кусок его бессмертной славы —

Обломок обгоревшего крыла.

1939

Поручик

Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.

А крепость Петропавловск-на-Камчатке
Погружена в привычный мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.

Седой солдат, откозыряв неловко,
Трет рукавом ленивые глаза,
И возле пушек бродит на веревке
Худая гарнизонная коза.

Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живет поручик с ротой егерей...

Поручик, долго щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали —

Неужто нынче будет эстафета? —

Маячили в тумане корабли.

Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
Шли к берегу британские суда.

Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донесся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожженные ядром.

Полдня они палили наудачу,
Грозя весь город обратить в костер.
Держа в кармане требованье сдачи,
На бастион взошел парламентар.

Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,
Надменно принимал британца, сидя
На лавочке у крепостной стены.

Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы то в лужах, то в пыли,

Косые гарнизонные избушки,
Клочок не нужной никому земли?

Но все-таки ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растер рукою:
Забытая, а все-таки земля.

Дырявые, обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей...
«Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!»
.....

Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы,
Уже давно всех мертвых схоронили,
Поставили сосновые кресты,

Когда Санкт-Петербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути,
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.

Для боевого действия к отряду

Был прислан в крепость новый капитан,
А старому поручику в награду
Был полный отпуск с пенсией дан!

Он все ходил по крепости, бедняга,
Все медлил лезть на сходни корабля.
Холодная казенная бумага,
Нелепая любимая земля...

1939

Английское военное кладбище в Севастополе

Здесь нет ни остролистника, ни тиса.
Чужие камни и солончаки,
Проржавленные солнцем кипарисы
Как воткнутые в землю тесаки.

И спрятаны под их худые кроны
В земле, под серым слоем плитняка,
Побатальонно и поэскадронно
Построены британские войска.

Шумят тяжелые кусты сирени,

Раскачивая неба синеву,
И сторож, опустившись на колени,
На английский манер стрижет траву.

К солдатам на последние квартиры
Корабль привез из Англии цветы,
Груз красных черепиц из Девоншира,
Колючие терновые кусты.

Солдатам на чужбине лучше спится,
Когда холмы у них над головой
Обложены английской черепицей,
Обсажены английскою травой.

На медных досках, на камнях надгробных,
На пыльных пирамидах из гранат
Английский гравер вырезал подробно
Число солдат и номера бригад.

Но прежде чем на судно погрузить их,
Боясь превратностей чужой земли,
Все надписи о горестных событиях
На русский второпях перевели.

Бродяга-переводчик неуклюже

Переименовал русские слова,
В которых о почтенье к праху мужа
Просила безутешная вдова:

«Сержант покойный спит здесь. Ради бога,
С почтением склонись перед этот крест!»
Как много миль от Англии, как много
Морских узлов от жен и от невест.

В чужом краю его обидеть могут,
И землю распахать, и гроб сломать.
Вы слышите! Не смейте, ради бога!
Об этом просят вас жена и мать!

Напрасный страх. Уже дряхлеют даты
На памятниках дедам и отцам.
Спокойно спят британские солдаты.
Мы никогда не мстили мертвецам.

1939

Часы дружбы

Недавно тост я слышал на пиру,

И вот он здесь записан на бумагу.

– Приснилось мне, – сказал нам тамада,
Что умер я, и все-таки не умер,
Что я не жив, и все-таки лежит
Передо мной последняя дорога.
Я шел по ней без хлеба, без огня,
Кругом качалась белая равнина,
Присевшие на корточки холмы
На согнутых хребтах держали небо.
Я шел по ней, весь день я не видал
Ни дыма, ни жилья, ни перекрестка,
Торчали вместо верстовых столбов
Могильные обломанные плиты —
Я надписи истертые читал,
Здесь были похоронены младенцы,
По две недели от роду, по три,
Умершие, едва успев родиться.
К полуночи я встретил старика,
Седой, как лунь, сидел он у дороги
И пил из рога черное вино,
Пахучим козьим сыром заедая.
«Скажи, отец, – спросил я у него, —
Ты сыр жуешь, ты пьешь вино из рога,
Как дожил ты до старости такой
Здесь, где никто не доживал до года?»
Старик, погладив мокрые усы,
Сказал: «Ты ошибаешься, прохожий,
Здесь до глубокой старости живут,

Здесь сверстники мои лежат в могилах,
Ты надписи неправильно прочел —
У нас другое летоисчисление:
Мы измеряем, долго ли ты жил,
Не днями жизни, а часами дружбы». —
И тамада поднялся над столом:

– «Так выпьем же, друзья, за годы дружбы!»

Но мы молчали. Если так считать —
Боюсь, не каждый доживет до года!

1939

Чемодан

Как много чемодан потертый может
Сказать нам о хозяине своем,
Где он бывал и как им век свой прожит,
Тяжел он или легок на подъем!

Мы в юности отправились в дорогу,
Наш чемодан едва набит на треть,
Но стоит нам немного постареть,
Он начинает пухнуть понемногу.

Его мы все нежнее бережем,
Мы обрастаем и вторым и третьим,
В окно давно уж некогда смотреть нам,
Нам только б уследить за багажом.

Свистят столбы, летят года и даты.
Чужие лица, с бляхой на груди,
Кряхтя, за нами тащат позади
Наш скарб, так мало весивший когда-то.

1938–1939

Телеграмма

Всегда назад столбы летят в окне.
Ты можешь уезжать и возвращаться,
Они опять по той же стороне
К нам в прошлое обратно будут мчаться.

Я в детстве мог часами напролет
Смотреть, как телеграммы пролетают:
Телеграфист их в трубочку скатает,
На провод их наденет и пошлет.

В холодный тамбур выйдя нараспашку,
Я и теперь, смотря на провода,
Слежу, как пролетает иногда
Закрученная в трубочку бумажка.

1938–1939

Тоска

– Что ты затосковал?

– Она ушла.

– Кто?

– Женщина.

И не вернется,

Не сядет рядом у стола,

Не разольет нам чай, не улыбнется;

Пока не отыщу ее следа —

Ни есть, ни спать спокойно не смогу я...

– Брось тосковать!

Что за беда?

Поищем —

И найдем другую.

.....

– Что ты затосковал?

– Она ушла!

– Кто?

– Муза.

Все сидела рядом.

И вдруг ушла и даже не могла

Предупредить хоть словом или взглядом.

Что ни пишу с тех пор – все бестолочь, вода,

Чернильные расплывчатые пятна...

– Брось тосковать!

Что за беда?

Догоним, приведем обратно.

.....

– Что ты затосковал?

– Да так...

Вот фотография прибита косо.

Дождь на дворе,

Забыл купить табак,

Обшарил стол – нигде ни папиросы.

Ни день, ни ночь, —

Какой-то средний час.

И скучно, и не знаешь, что такое...

– Ну что ж, тоскуй,

На этот раз

Ты пойман настоящей тоскою...

1938–1939

В командировке

Он, мельком оглядев свою каморку,
Создаст командировочный уют.
На стол положит старую «Вечерку»,
На ней и чай, а то и водку пьют.

Открыв свой чемоданчик из клеенки,
Пришпилит кнопкой посреди стены
Большую фотографию ребенка
И маленькую карточку жены.

Не замечая местную природу,
Скупой на внеслужебные слова,
Не хныча, проживет он здесь полгода,
А если надо, так и год и два.

Пожалуй, только письма бы почаще,
Да он ведь терпеливый адресат.
Должно быть, далеко почтовый ящик
И сына утром надо в детский сад...

Все хорошо, и разве что с отвычки
Затосковав под самый Новый год,
В сених исчиркав все, что были, спички,
Он москвича другого приведет.

По чайным чашкам разольет зубровку,
Покажет гостю карточку – жена,
Сам понимаешь, я в командировках...
А все-таки хорошая она.

И, хлопая друг друга по коленям,
Припомнят Разгуляй, коровий брод,
Две комнаты – одну в Кривоколенном,
Другую у Кропоткинских ворот.

Зачем-то вдруг начнут считать трамваи,
Все станции метро переберут,
Друг друга второпях перебивая,
Заведомо с три короба наврут.

Тайком от захмелевшего соседа
Смахнут слезу без видимых причин.
Смешная полунощная беседа
Двух очень стосковавшихся мужчин.
.....
Когда-нибудь, отмеченный в приказе,
Последний раз по россыпи снежка
Проедет он на кашляющем ГАЗе
По будущим проспектам городка.

Другой москвич зайдет в его каморку,

Займет ее на месяц или год,
На стол положит старую «Вечерку»
И над кроватью карточки прибьет.

1938–1939

Транссибирский экспресс

У этого поезда плакать не принято. Штраф.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, перейдя по ссылке
<http://www.litres.ru/konstantin-simonov/zhdi-menya/?lfrom=329574480> и купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.